

Р о с с и й с к а я
национальная премия

«*Поэт*»

ШЕОШ
ПОЭТ

*Общество поощрения
русской поэзии*

Российское открытое
акционерное общество
энергетики и электрификации
«ЕЭС России»



РАО "ЕЭС России"



Общество
поощрения
русской поэзии

Олеся Николаева

В честь
присуждения
Российской
национальной
премии
«Поэт»

2 0 0 6

Российская национальная премия «Поэт» учреждена Обществом поощрения русской поэзии при поддержке РАО «ЕЭС России» в апреле 2005 как награда за наивысшие достижения в современной русской поэзии.

Согласно статусу премии, ею могут быть награждены только ныне живущие поэты, пишущие на русском языке, безотносительно к их национальности и месту проживания. Премия может быть присуждена одному лицу только один раз. Разделение премии между двумя или более лауреатами и присуждение премии посмертно не предусматривается.

Право номинации (выдвижения на соискание премии) принадлежит только членам Попечительского совета Общества поощрения русской поэзии, созданного по инициативе группы литературных критиков и литературоведов при поддержке РАО «ЕЭС России».

Имя лауреата определяется тайным голосованием жюри, состоящего из членов Попечительского совета, либо формируемого по его решению.

Лауреату премии «Поэт» вручаются диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение, сумма которого эквивалентна 50 000 долларов США.

Помимо присуждения Российской национальной премии «Поэт» Общество поощрения русской поэзии намерено развернуть широкую деятельность по привлечению общественного внимания к современной поэзии, поощрению творчества молодых, ярко заявивших о себе поэтов, а также исследований в области классической и современной русской литературы.

РЕЧЬ ПРИ ВРУЧЕНИИ

Российской национальной премии «Поэт»

О, какое же это искушение для поэта, когда он непременно хочет понравиться всем, отчебучить что-нибудь этакое, чтобы всех поразить! И чтобы все говорили: о, как он понравился нам своими новинками, этот поэт, как он удивил, как много у него всяких находок, диковинок и всего, всего!

Но за такое тщеславное помышление наказывает поэта Податель энергий, Даритель слов, Хранитель имен. Он придерживает их у Себя и смотрит, как поэт справится сам.

И поэт напрягается, аж дрожит, изо всех силенок старается, даже жила какая-то вдруг вылезает у него на лбу. Ничего, он думает, справимся: он же все-таки всякие штуки знает, потайные ходы, — он и капканы может расставить, и силки для небесных птиц. Он и орешки выкрасит в золотое, содержательными такими ядрышками сплошь начинит, он и белочку пушкинскую, классическую, трогательную посадит с хвостом, он и мультку какую-нибудь ироническую вправит в текст, разными намеками наживит крючки!..

Но ничего-то, оказывается, он не может сам по себе: все выходит мертворожденным, выморочным. Ни дух у него не веет, ни огонь не горит. Белка безумная, заводная скачет и скачет в скрежещущем колесе...

— Эх, — говорит бедолага, — где же былое мое дарование? Где дуновение живительного ветерка? Где катящееся прямо в руки то единственное словцо, а за ним — и еще, еще? Та единственная интонация, веселящая сердце, как хмель? Где свобода моя драгоценная — это дивное самовластие раздавать всему — имена? Где тот плещущийся избыток сердца — моя любовь? Где любовь, возвращающая все похищенное у меня временем, воскрешающая все умершее, бессловесным призракам дарующая плоть, бытие, вдыхающая в них смысл?..

И вот поэт потихонечку исправляется, избавляется от искушения, залезает поглубже в норку, осторожно выглядывает на белый свет, словно робко ждет известия, что ли, какого-то, почтальона, вроде, небесного с письмецом. Так

сидит он тихо, чаёт, что ветер вдруг переменится и все оживет, запоет птичка, начнет витийствовать лес.

И на этом притча сия про поэта заканчивается, но она и не басня, чтобы было в ней непременно моралите.

И только о Самом Господине энергий, о Хозяине вдохновенья хочется еще говорить. Хочется обнаруживать следы Его присутствия в мире, дуновение Его уст. Этот легкий огонь, этот тонкий хлад...

Бродский в Нобелевской речи утверждал, что поэзия — это явление языка. Вряд ли кто-нибудь станет с этим спорить. Да, действительно, явление языка, но не только. Поэзия — это прежде всего форма энергии, словесная ее организация. Ибо язык гениального стихотворения может быть беден и банален. Вспомним Блока, творящего как бы «из ничего» — из движения воздуха, порыва ветра. Эти скудные его рифмы: пришла-нашла, бесконечные кровь-любовь, морозы-розы и очи-ночи.

Прекрасное стихотворение может быть и вовсе косноязычным. Что стоит признание Пастернака: «А ты прекрасна без извилин»? Или вот это — еще хлеще: «Всем корпусом на тучу ложится тень крыла»? Да и, собственно, мысль в гениальном стихотворении может быть *никакой*. Что за мысль такая здесь вот, у Фета: «Я болен, Офелия, милый мой друг...»? Воистину «Есть речи — значенье темно иль ничтожно»...

Итак, как отмечал у Достоевского еще сын Смердящей, для обыденного сознания «стихи вздор-с», речи «темны и ничтожны», где тень крыла ложится на тучу всем корпусом. Но все это прекрасненько даже может быть в поэзии. А вот каким не может быть прекрасное стихотворение — это лишенным энергийного образа.

Ибо и само поэтическое слово — вовсе не номинально, а энергийно: в нем — бездна бездну призывает... Его не отсецешь так просто от бытия, умертвив смысл. Оно — творит новую реальность, совпадая с ней. Оно — сбывается. Оно — пророчественно. Оно — царственно. Оно — вдохновенно. Оно — за пророков Исайю с Иеремией, и оно — против Пилата. Оно — за Платона, оно — за Сократа, и оно — против софистов. Оно — за царя Давида, за царя Соломона, наконец, за апостола Павла, и оно — против гностиков, против Цельса.

...Многие называют ее, эту энергию, звук: «В стихах есть звук». Но это — энергия.

Многие называют ее «музыкой»: «Музыка стиха». Но это — энергия.

Многие называют ее «Музой», подозревая, что у нее есть лицо. Есть у нее даже и «дудочка в руке». Но это — энергия.

Кто-то говорит: теснота стихового ряда. Но это — энергия.

Кто-то настаивает: это — драйв, драйв, пассионарность! Но это — энергия.

Кто-то замечает: интонация. Но и это — энергия.

Ушла — и нет ничего. Не докличешься, не подманишь и не заслужишь.

А пришла, самовластная, — и вот уже сонм пророков сходит к нам с высоты, а пред ними псалтирь, и тимпан, и свирель, и гусли.

О, этот таинственный энергийный образ — самовластная синтагма, не терпящая возражений, ритм, устремляющийся на борьбу с метром: драматизм, движение, дуновение, ветер, вихрь... Наконец, декламация, напоминающая пение, молитвословие, магию, Бог весть что... «Мы только с голоса пойдем, что там царялось, боролось»...

Поэт на Западе — профессор, филолог. Поэзия — род литературной деятельности. Или — самовыражение. Или — психотерапия. А у нас поэт — пророк. Поэзия — служение, духовный подвиг. Оттого наш слух «чуткий парус напрягает». Ловит с неба искры Божьи, золотые энергии и швыряет в толпу, прожигает одежду, кожу. У нас «и Саул во пророках», потому что энергия — заразительна. Дуновение ее, дыхание... Дух Святой по-гречески будет «пневма» — дыхание, ветер.

Воистину — читаешь стихи — дух захватывает. А пишешь — и чувствуешь, как целый столп энергии извергается из тебя. Воздух вокруг наэлектризованный, напряженный, густой. Садился за стол одним человеком — поднялся уже другим. Душа легка и спокойна: в ней полный штиль, безмолвие, тишина... Остается лишь ждать, когда же опять — ветер подует, заколеблется пламя, поднимется пыль на дорогах, и пойдет волна за волной, за облаком облако, за словом слово, за дуновеньем речь...

И потому — не нам, Господи, не нам, но Имени Твоему даждь хвалу!



Олеся Николаева

шестнадцать
стихотворений
и поэма

МОЭТ

МОЭТ

СЕМЬ НАЧАЛ

I

Выходя из города, где хозяйничают новостройки, новоселы и нувориши,
желание выбиться в люди, быть счастливым, убедить себя, что не страшен ад,
о дерзновеннейшая из женщин, душа моя,
не поднимай горделивую голову еще выше,
не оглядывайся назад!

II

Выходя из города, где кто-то любил кого-то,
где кто-то играл кому-то лучшую из Моцартовых сонат,
и рояль был совсем расстроен, и у Эроса облупился нос,
и с Орфея осыпалась позолота,
о, не оглядывайся назад!

III

Выходя из города,
где праздновали дни рождений, дорожили мнением моды,
где, на панихиде встретившись, говорили: «Ба! Давненько не выделись!»,
пили вино и отщипывали виноград,
где болели хандрой и раком, убивали детей во чреве и принимали роды, —
о, не оглядывайся назад!

IV

Выходя из города, где тщеславились обильным столом, нарядом и башмаками,
задавали себе вопросы: «Зачем это все мне надо?» и «Что это мне дает?»,
доказывали, что добро обязано быть с кулаками,
о, не оглядывайся, душа моя, но смотри вперед!

V

Выходя из города, на который и жена праведника оглянулась,
ибо не всякая любовь остыла, и воспоминания разрывают грудь,
и не всякая стрела пропала, и не всякая струна прогнулась,
но ты, о душа моя, о душа моя, об этом — забудь!

VI

Выходя из города, в котором хоть один купол еще золотится
и хоть один колокол на высокой башне уверяет в том,
что не каждое слово — погибло и не каждая слеза в прах возвратится,
но ты, о душа моя, не оглядывайся: замрешь соляным столпом!

VII

Выходя из города — уже поверженного, уже лежащего в пепле,
где даже оплакать некому своего мертвеца,
о, не оглядывайся, душа моя, — забудь, оглохни, ослепни,
когда Господь выводит тебя из города твоего отца!

СУДЬБА ИНОСТРАНЦА В РОССИИ

Судьба иностранца в России похожа на ключ, только вот теперь уж никто не отыщет тех славных дверей и ворот, тех шкафчиков, тех секретеров, тех ларчиков в чудной пыли, которые с музыкой тайной когда-то открыться могли: ушли гувернеры, арапы, монголы и немцы, теперь из третьего мира арабы то в окна влезают, то в дверь.

...Он вечно — то гость, то захватчик, то друг он, то враг, то истец, а то и умелый строитель, а то и с товаром купец. В нем ищут черты лжемессии, Антихриста видят, а он — то деньги дает под проценты, то рыщет впотъмах, как шпион.

...Четыре мучительных века с тоской мы глядим на Афон, Максима, ученого грека, мы просим приехать, а он, пока мы в его переводе читаем Псалтирь по нему, все едет по русской равнине в тверские пределы, в тюрьму. Его уже века четыре мы как преподобного чтим — под вьюгу, под чтение Псалтири, и сосны бушуют над ним.

...В России судьба иностранца трагична, комична, — она роскошна, когда не трагична, комична, когда не страшна. В ней видно Россию далёко, и стынут средь утренней мглы ампиры, рококо и барокко — ее роковые углы.

Но быть иностранцем в России почетно, когда не грешно, надежно, когда не опасно, печально, когда не смешно. Он принят по высшему чину, как ангел, сошедший с небес, и он же — взащеи и в спину крестом изгоняем, как бес. И то здесь страстями Голгофы окончат над ним самосуд, то в лучших российских покоях присягу ему принесут.

...В России судьба баснословна, странна, иностранна, чудна, то праведна, то уголовна, абсурда и смысла полна. Небесного поприща странник! Отечество славя свое, ты тоже — избранник, изгнанник, чернец, иностранец ее! Всем миром встает на колени великодержавный приют, когда «*На реках Вавилонских...*» его домочадцы поют.

С К О Р О

Миша, наверно, скоро станет священником,
Володя — главным редактором, а Глеб — разведется,
Леночка эмигрирует к своим соплеменникам,
Галя родит четвертого, а Колька совсем сопьется...

Миша скоро наденет епитрахиль златотканую,
Володя — костюм с бабочкой, Глеб — штаны стариковской кройки,
Леночка — что-нибудь импортное, долгожданное,
Галя — сорочку казенную, а Колька — куртку с помойки.

И жизнь — эта кастелянша, костюмерша известная,
по-хозяйски начнет приглядываться: кто в чем? по росту ли? по плечу ли?
Где протерлось, где залоснилось, прохудилось, треснуло?..
И по одежке проводит каждого, и сложит ее на стуле...

С Т И Х И О Б О Г А Т О М Ю Н О Ш Е

Я — богатый юноша, и мне жалко
расставаться с сабелькой из Эфеса,
и с камзолом бархатным с алой лентой,
и с пером на шляпе, и с крепким перстнем...

С этой гордой складкой у губ, с повадкой
молодого рыцаря и с посадкой
верховой, с пружинистой походкой,
с подбородком, выплывшим легкой лодкой.

С тетивою мышцы, с биеньем лимфы,
с голосами арфы, с виденьем нимфы,
с зеркалами рифмы и с Божьим даром —
с этим блеском, маревом, плеском, жаром!

Я боюсь земли, где плодятся черви,
я боюсь луны на кривом ущербе,
я боюсь пиров, где привольно мухам,
и Царя незримого нищих духом!

И отдам я сабельку с портупеей,
и камзол, и перстень, и пруд с аллеей,
и рожок охотничий, и дорогу
неизвестному молодому Богу.

Юный взор отдам ему, сердце, голос,
каждый вьющийся своевольем волос...
Даже сердце — с его ядовитым медом,
жизнь и твердь со звездами над черным входом.

МЕМОАРИСТКЕ

Старуха-деспотка, всезнайка, самодурка,
полна разгадками. Как вещая каурка,
все вынесет, все чувствует, все раскусит:
душа при ней парит, а сердце трусит.

Она дороже мне всех молодых сестер
и братьев доблестных, покуда на костер
толкает юношей, шлет теноров эпохи
и с барского стола швыряет крохи.

Старуха дерзкая! Тебе б носить жабо,
чай гонять и ни гу-гу, что знаешь...
А ты героев, словно бибабо,
то кланяться, то каяться гоняешь.
И гребень сказочный на черный снег роняешь...

Старуха дивная! Перед тобою мгла
и обоюдоострый ушлый месяц.
Ты всех оставила — ты всех пережила:
врагов, любовников, наперстников, прелестниц.
И к небу тянутся каскады шатких лестниц.

Теперь рассказывай. Кто ел из этих рук.
Кто пил из тувельки. Кто гнал тебя по трактам.
Кто шею гнул. Кто поломал каблук.
Ты помнишь все, не доверяясь фактам,
и жест важнее, чем сюжетный трюк.

А факты — что? Их можно тасовать,
бить, словно козырем, нагнать такого дыма,
что под призором их затосковать

по жизни подлинной, которая — помимо,
неописуема почти, неуловима...

Твои истории — то сон дурной, то сруб
паленый: кто — хозяин? где скиталец?
И тут же появляется: у губ
фигура умолчанья держит палец,
глаза большие делает: луп-луп.

Нет, ты раскрой лицо, разоблачи
мотив податливый, кольни, найди, где сердце.
На поясе твоём бренчат ключи
от скважин мировых, от скрытой дверцы.
Кто там за нею, ну-ка, постучи...

Чтоб вещи сдвинулись, поплыли, отворя
все, что там пряталось за ними, меркло, блекло:
любовь таинственной, чем звезды, чем моря,
а ревность пламенной рубинового пекла,
ан — рядится то в мышь, то в снегиря.

А смерть прекраснее, чем первый день зимы.
И сад в снегу с открытыми глазами.
Старуха вещая, на дне твоей сумы
давно написано, что происходит с нами,
совсем не так, как это видим мы.

Три тайны вручены тебе, смотри:
одна — любви, другая — смерти... Страсти
при них тускнеют, словно фонари.
А третья тайна — это тайна власти.
Все было так, как скажешь. Говори.

АДМИРАЛ НЕЛЬСОН

Мама полюбила отца за то, что он был, как Нельсон,
потерявший в сраженьях руку... Сквозняком шестипалым
незнакомый голос захлебывается в осеннем воздухе: «*Кирие элейсон!*»
Господи, помилуй же леди Гамильтон с ее седым адмиралом!

Дочь их уже не помнит ни Альбиона, ни фольварков, ни фейерверков,
ни тревожной кормы, ни белых ступеней, ни велеречивых названий.
На месте бывшего Лондона — теперь устроена церковь.
На месте флотилии — кладбище затонувших воспоминаний.

...Потому что, сгорая, бывое великолепье
возвращает лишь пепел да негодный подмокший порох.
Да еще — карабин с неподъемной якорной цепью,
на которую посадили запах морской, и плеск, и грозу вдалеке, и шорох.

Прокисает вино торжеств. Иссякает жизнь на закате.
Даже дочь становится немолодой: желтизна в букете и плесень в хлебе.
Даже смерть — и та — проходит, оканчивается... В результате
остается лишь леди Гамильтон со своим избранником. Да Бог на небе.

* * *

Знаешь, в рейтинге современных поэтов
заняла я некое место. Значит, все-таки — пусть земля ему будет пухом —
опрометчиво и оплошно
мой редактор Виктор Сергеевич Фогельсон —
знаток цензурных секретов —
говорил мне, вымарывая строфу: «Так же нельзя писать!»
А оказалось — можно.

Вот и ты, мой друг, заразился этой — расшлепанной на широкую ногу,
безалаберной, взбаламученною строфою, распахнутой, как объятья,
навстречу ветру, музыке за забором, горю-злочастью, Богу...
Сколько же вольнодумства, однако, в складках ее широкого платья!

Сколько прихоти и капризов в ее черных штапелях, сиротских ситцах!
Даже когда она прикрывается облаками,
в недомолвках туманных — как не проговориться?
Как не выболтать даже больше, чем было, — обиняками?..

Вот и ты теперь можешь сказать, что Бог — на душу, что луна — полю,
что прямая речь не выдержит — спрячется, как улитка,
и, ломая синтаксис, язык прикусит, пока в крамоле
света лунного плещется рифма — то кокетка, то кармелитка.

И пока склоненье столь благосклонно, и каждый падеж столь падок
до сверчков и скрипачек, — в блеске, в брызгах, неосторожно
заборматывающаяся судьба, спотыкаясь среди опечаток,
так сама себя пишет, как вовсе писать нельзя!

Но пройти по водам — возможно.

КОМАНДОР

Афганец, оставайся прав!
Там, на одной из переправ —
между ветрами —
ты был распят, ты был сожжен
и собран с четырех сторон,
и вот — ты с нами.

Кому война — бравурный клич,
кому война — ременный бич
и столп позорный.
Тебе ж — и решка, и орел:
сам Промысел тебя провел
сквозь вихорь черный.

Ты явлен нам, как Командор,
как кондор — из-за черных гор,
из царства тлена.
И — оловянной всех солдат —
глядишь — а тут иной расклад:
беда, измена.

Почто играли вам поход,
почто стреляли вам в живот
из всех обрезов,
и вы сползали по скале
и просыпались на столе
для двух протезов?..

В волчцах, в поту, в крови, в пыли
до самой Мекки вы б дошли
по шатким сходням,

и демоны кричали б вам:
«Пришельцы белые, салям!» —
из преисподней.

Вам подносил уже Восток
и горний лед, и кипяток
и выше мира
вас ставил гордой чередой,
и Ксерксовой горел звездой
и солнцем Кира!

Не в человечьем же тепле
томить нездешний дух — в земле
от лба до чресел!..
Всей этой крови с молоком
дай по трибуне кулаком,
что прав твой Кесарь!

Ты видел со звездами — твердь.
Ты видел со зрачками — смерть:
она, как Геба,
лила вино сквозь решето,
и если выбирала, то
по воле неба.

ВЕЧЕРОМ

Я ведро в колодец столкнула, и оно зазвенело, запело,
загрохотало, заохало, отяжелело и — отражений полное и теней —
стало вверх подниматься, и ржавая цепь скрипела,
и каждый поворот вала был все круче и все трудней.

И уже кто-то жеребенка своего напоил, и чья-то семья чаевничать села,
и чьи-то дети, умывшись, сидели, и звезда уже начинала на черном небе сиять, —
и лишь мое ведро все раскачивалось, все поскрипывало, все скрипело,
и все туже колодезная закручивалась рукоять!

И мое ведро над черной бездной раскачивалось, как весы, качалось,
и все туже наматывалась цепь на оси...
— Почему ж мне так трудно все? — я спросила. Мне отозвалось:
— Ни на что не жалуйся, ничего не требуй, ни о чем не проси!

ЗАБВЕНЬЕ

В локтевом суставе тикнув, в чашечке коленной
молодой пчелой жужжит, стрекозой стрекошет,
Иерусалим небесный облетает сокровенной
мыслью, губы в Мертвом море мочит...

С головой четвероликой жизнь! Усеяла очами!
Взоры около летают, оводы, шмели и слепни,
но для прошлого — ослепли эти очи, и ночами
слышно только, как забвенья запахи окрепли.

— Дорогая, — говоришь мне, уводя из дома в слякоть
и средь гор таская бесполезных, —
для того оно, забвенье, чтоб — не помнить, чтоб — не плакать
о предателях прекрасных, о лжецах чудесных!

Для того оно такое — бархатное — покрывало,
с черным ворсом, с острой блесткой, в звездах полуночных,
чтобы ты — не убивалась, чтобы ты — не горевала
о лукавцах гениальных, гордецах роскошных!

...Я и так уже — не помню. Я и так уже — не вижу.
Я и так уже — не роюсь в этой свалке
мертвых жужелиц, улыбок, тайных писем из Парижа...
Только запахи со мной играют в салки!

ДО НЕБЕСНОГО ЕРУСАЛИМА

...Ты теперь еретик и раскольник.
Перейдя роковую черту,
рассыпаешь мой дактиль, мой дольник,
мой анапест в опальном скиту.

Это — птицам на корм, это — трели
бегства в небо, когда дотемна
лжепророками Иезавели
дух измучен, душа стеснена.

Это — близко последняя битва:
буря, клекот, биение крыл.
Это — бдение, это — молитва,
это — то же, что ты говорил:

«Проведи меня полем до спуска,
по оврагу и дальше — средь тьмы,
довези до Козельска, до Курска,
до Калязина, до Костромы.

До чертога, плывущего мимо,
где стоят херувимы, грозя.
До небесного Ерусалима...»
Дальше — некуда. Поздно. Нельзя.

СЕМЕЙНЫЕ СТРАСТИ

Лариса всю жизнь говорила мужу:
— Вот уйду от тебя к Петрову —
он меня любит до смерти! —
Муж сначала боялся и от ревности стискивал пальцы,
а потом успокоился,
щуриться стал и стоял отвернувшись, с таким равнодушным затылком!..

А однажды, когда пригрозила Лариса ему,
намекнув на Петрова,
неожиданно он рассмеялся и зло на нее посмотрел:
— Да кому ты нужна,
бестолковая старая дура!

И Лариса вдруг вздрогнула. «А!» — закричала, к лицу
две ладони прижала и крикнула в страшном волнении:
— Он меня и такую возьмет!
Он любую меня не разлюбит!

И у зеркала долго искала ответа она,
и глаза до висков рисовала, и челку взбивала,
и старалась придать выражение свободы лицу,
и смотрела, как смотрят лишь «звезды»
картин Голливуда...

И, уткнувшись в стекло окаянное, прямо лоб в лоб,
вдруг заплакала-запричитала над долей своею,
что ведь жить невозможно,
когда нет кого-нибудь, кто б
продолжал бы любить ее, что бы там ни было с нею!

И уже среди ночи — у мужниной теплой щеки —
шепчет, вдруг возмущившись:— Как это нечестно и гадко!
— Что с тобою, Лариса? — Любить — так любить без остатка!
Вечно, — плачет она, — бесконечно! И миру всему вопреки!

РОЖДЕНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

...Начинается великий поход. Шьют мундир с галунами.
Черный плащ с золотым шитьем,
развевающийся при быстрой ходьбе.
Сборы... Кларнет в футляре.
Но его мундштук уже приложен к губе.
Начинается тяжесть, томленье.
На одном месте топтанье
Лепетанье... С ноги на ногу
переминанье.
То с одного, то с другого бока.
Перечеркиванье крест-накрест.
Прикуруиванье на сыром ветру.
Междометие «О», влекущее за собой...
Прочие восклицанья.
Топкие, вязкие воспоминанья...
Пусто. Тревожно. Невыносимо,
особенно, если дело уже к утру...
...Начинается с реплики на ступенях,
с оклика в коридоре, с окрика,
с хватанья за обрывок ритма,
за рифму, которая заваливается
сразу навзничь с открытым ртом.
Иногда мне кажется: ненавижу.
Иногда мне кажется: презираю.
Иногда мне кажется: лучше нажраться мяса
и выплевать под кустом.
...Выболтаться до зияющей юродивой речи на пустыре посреди бурьяна!
Проговориться в поле невнятиц
под гудящей высотой у бессвязной межи!
Проболтаться, оговориться, выронить,
словно окровавленный платок из кармана,

слово, из которого вырастают, как пальцы,
предлоги, флексии, приставки,
творительные, предложные падежи!

Что-то вроде «Ноеминь, Ноеминь» и дальше —
птичьим ты называешься слогом.

И куда бы ты ни пошла, я пойду за тобой.
Ибо непредсказуемое в человеке рифмуется насмерть с Богом
на путях неисповедимых, выписываемых судьбой...

Ноеминь, Ноеминь, и дальше...
Ты — как утреннее целованье,
над глухоманью звон.
На осенних дорогах тесно от фигур умолчанья,
от существ без лица и названья,
и если они из бесовских армий, имя им — легион.

А за ними — лысые, с голыми веками, фразы.
Рукоприкладство
синтаксиса к семантике. Требования удовлетворения прав.
Равенство буквы «я», переходящее в братство
прочих личных местоимений, друг друга хватающих за рукав.

А за ними — с песьими головами слова,
значенья, уставившиеся в одну точку,
названья, приросшие, словно панцирь,
к живому бескостному существу,
все это выливающееся, как из водосточной трубы,
записывающееся в плоскую строчку,
но я Ноеминь именую тем, что ее зову...

Заблудившись когда-то в заброшенной каменоломне
и по тени определяя, откуда свет,
разве мы сделались недоверчивей, вероломней,
оттого что на этих камнях наших имен нет?

ИЗ ЦИКЛА «ИСПАНСКИЕ ПИСЬМА»

I.

Дорогой! Испания — сухая, выработанная земля.
Вспыхивает от каждой спички. Долго чадит, дымится.
Никого не чтит, даже испанского короля,
а при этом ищет, кому бы ей поклониться.

И служить не любит. Но о каком-то своем
тайном и чрезвычайном служенье твердит открыто.
Сонная и неприбранная, она бродит днем,
оттого лицо ее ближе к вечеру измученно и сердито.

Слово «провинциальный» много скажет уму
про испанский апломб, амбиции, сумасбродство.
А сынов Израиля здесь не жалуют, потому
что учуивают подозрительное с ними сходство.

Все это пишут в местных газетах. Но —
как ты ни пробуй прижиться, врати искусно —
иезуитом здесь быть противно, шутком — грешно,
аристократом — сомнительно, чернью — гнусно.

II.

Дорогой! Испания — это такая страна, куда ни с каких дорог
не завернешь, даже если захочешь...

Здесь просто оказываешься однажды.

Обнаруживаешь себя. Входишь сюда на вдохе...

Как если бы что-то болело в тебе так долго, но, миновав болевой порог,
ты очутился бы вдруг в ином пространстве, времени и эпохе...

Ах, не то чтобы сделался вовсе бесчувственным, нет, но своя
жизнь глядит незнакомкой какой-то, испанкой, и локон завился...

То ли это ландшафт свою кожу сменял, как змея,
то ли ангел на небе сменился!

Потому — безразлично, кто ныне у власти и что за итог
местных стычек и переговоров жандармов с наемниками, — без раздумья
настоящий испанец тебе ответит: «Испанией правит Бог,
провинцией — ветер с Атлантики, приливами — полнолуныя».

III.

Дорогой! В Испании бесчисленное множество религиозных войн
бесов с ангелами. До самых небес запружен
воздух бьющимися крылами, огненной посеченной травой,
несгораемым зноем, и путник пред ним безоружен.

Он глядит в свое сердце, а сердце — как цвет полевой:
то раскрыто, то скомкано, то исковеркано наспех,
то в овраг закатилось по черной дорожке кривой,
то под ветром полощется — курам кудахчущим на смех.

Грызунам — на потеху: любому хорьку на пеньке,
или членистоногим — на липкий язык вроде студня,
или холоднокровным — на их «бре-ке-ке», «бре-ке-ке»,
здесь, под самым окном моим, вечером, после полудня.

Жить в Испании так, дорогой, — жутковато. Страшней — умирать.
Истончаясь, скользая, ускользя, как под воду — мыло,
здесь, подпрыгнув, цепляются к ангелам за рукоять
и, на цыпочки встав, за архангельский меч Михаила.

Иль, схвативши чернила, в сердцах, пред дорогой нагой
пишут письма Тому, Кто подьмет и море, и сушу,
и в поспешном постскриптуме ставят P. S.: «Дорогой!
Здесь, в Испании, можно погибнуть за милую душу!»

* * *

Я одним глазком заглядывала в Бейрут
и одной ногой зашагивала в Багдад,
и в Дамаск запускала руку, и был обут
в сапожищи Ливанских гор и багров закат...
А глаза закрою — он ярче горит стократ.

Я входила в Ерусалим под его звезду.
Целовала в белые камни, в старческий лоб
и в маслины скукоженные в Гефсиманском саду,
в бугенвиль кровавый его, в острый иссоп.
До сих пор мои губы чувствуют жар, озноб.

В Иудейской пустыне монах мне давал лукум
и поил из греческой фляги водой, аскет,
и крестом осенял, чтоб меня не свалил самум
и чтобы сель миновал, и чтоб бес потерял мой след.
И хранит меня этот крест, как Фаворский свет.

...Чем воздам Промыслителю, Создателю бездн и гор
За Афины и Фермопилы, за жест, за взгляд,
За Чермное море, за Патмос и за Босфор,
и за Солунь, и за Керкиру, и за Царь-град?
И любое имя слаще, чем виноград.

Да хотя б за то, что, на лоб нацепив плюмаж,
водопад отодвинув локтем, щурясь на свет,
я учила индейцев нашему «Отче наш»,
а они «Pater poster» учили меня в ответ.
И водил по сердцу отточенный карандаш.

И пока корабли мои качаются на волнах
между Сциллою и Харибдой, мул ждет у горы Фавор,
и спускается облако, всю ночь стоит в головах,
ветер с моря прочь из души выдувает сор, —
ни один мне не страшен враг,
не опасен вор.

И когда я совсем уйду, — как медленный караван,
вслед за мной потянутся Дарданеллы, Евфрат, Ермон,
даже Нил безумный — и тот, он стар, он пьян,
Понт Евксинский, ветра с четырех сторон.
И омоет пятна мои Иордан, упокоит сон.

Я полмира с собой унесу. Лишь обрывок, клочок
здесь оставлю: Нью-Йорк, Баскунчак, Дакар,
так — какую-то мелочь. Зыбкий чужой песок.
Остальное возьму, куда ни один Макар...
Бьется в глазу Кура,
Эльба стучит в висок.

Все со мною пребудет, что я полюбила, — да!
Разложу пред Господом Сил, Господином лет:
— Посмотри, у меня и Твоя земля, и Твоя вода
сохранили вкус, сохранили запах и цвет.
И готовы к вечному празднику города.

И — о чудо! — здесь все мое, и при этом нет
ничего моего!.. Так долгие облака
проплывают, меняя черты, когда преломляют свет:
то горы встают из них, то замки, а то река...

И дети кричат им вдогонку и машут вслед!

* * *

Как отец мой к Большому театру летит — погляди! —
Чая встретиться там с фронтовыми комбатом, начдивом...
Он в особом костюме таком, где пиджак на груди
Орденами проколот — в костюмчике этом счастливом!

Так отец мой Девятого мая к Большому — на дружеский сход
все плывет на воздушях, подняв изумленные веки.
А в глазах — словно рыбки там две золотые расплещут вот-вот
эти синие воды очес, эти черные реки.

Предвкушает, родимый: немного еще — и ему
«Лейтенант!» — кто-то крикнет, щекой припадая шершаво, —
то ли тот рядовой из-под Данцига в черном дыму,
из-под Минска ль майор иль сержант из-под гневной Варшавы.

То ли с Буга полковник, то ль прапорщик с Березины.
Но ни этих, ни тех... Лейтенант, вашей армии нету!
И братки полегли, и корявое тело страны
просто сброшено в ров меж востоком и западом где-то...
В погребальные пелены, в черные сучья одето...

И отец на ветру, так что гаснет его сигарета
все уходит отец мой, уходит отец мой с войны,
через вражьи заставы к своим пробиваясь все лето.

СОБАКА

поэма

Было так:
Алеша звонил из автомата в моем подъезде и вешал трубку.
Мама подходила к телефону и говорила:
— Наверное, не туда попали — шальной звонок.
А я, как бы нехотя, как бы из чувства долга, брала поводок, и собака
вскакивала со своего места, виляла хвостом, совала морду в ошейник...
А Алеша — уже поджидал нас на лестничной клетке.

...Каждый раз Алеша стыдил меня за то, что я так мало читаю,
и потому приносил с собой очередную книжку,
требуя исчерпывающего ответа о предыдущей.
— Ну что, — спрашивал он, строго пронизывая меня взглядом, —
как тебе понравились Будденброки?
И я, выучившая уже некоторые его выраженья,
глубокомысленно отвечала, стиснув зубы и собравшись духом:
— Крепкая проза.

Параллельно мы проходили с ним поэзию царства Чжоу
и время от времени к Древней Греции обращали взоры.
И на трудном пути от южного берега Хань до прекрасной Трои
начали уже целоваться.
А потом мы за хронологией совсем не следили
и легко перескакивали от лейкистов к обэриутам,
и, кажется, во время сопоставлений Корнеля с Софоклом
Алеша, как бы так, между прочим и нота бене,
предложил мне выйти за него замуж.
Мы проходили с ним Стерна, Гессе и Мандельштама,

и корейцев в переводах Гитовича, и сады с сиренью,
и пустые ночные площади, и скверы, и парки,
и Алеша уже беседовал с моей мамой,
чтобы она построже за мной смотрела.

Каждый раз они подолгу разговаривали по телефону,
и я слышала, как мама много раз повторяла:
— Алеша, я уж прошу вас — не забывайте,
что моей дурынде только семнадцать!

К концу лета по моей загнанной школярской душе
по-хозяйски расхаживали взрослые персонажи —
всякие там Иуды Искароты и мелкие бесы,
и Фаусты с Фаустусами выясняли сложные отношения.
Встречались также и лишние люди,
преимущественно русского происхождения,
боримые синдромом гамлетизма и байронизма,
и два-три подлинных Гамлета, из принцев Датских,
страдавшие комплексом царя Эдипа...

Алеша говорил:
— Когда ты выйдешь за меня замуж,
ты будешь мне показывать каждую строчку, которую ты напишешь,
чтобы я мог ее сразу исправить с точки зрения вкуса.
Потому что Алеша очень хотел, чтобы из меня получилась настоящая поэтесса.

Так прошло лето.
Алеша стал собираться в дорогу:
он учился в консерватории, и его посылали на конкурс в Соединенные Штаты.
Вечером накануне отъезда он пришел попрощаться
и подарил моей маме белые розы.
Они просидели до ночи, и оба меня воспитывали, критикуя.
Алеша говорил, что я по-прежнему ничего не читаю

и за целое лето написала ну разве что пару приличных строчек.
А мама поддакивала, что я ленивая и вообще неряха.

Потом я взяла собаку и пошла провожать Алешу,
и где-то там, в полутемной арке,
собака вдруг походя цапнула какого-то подгулявшего человека,
а он оказался американцем.

Он возмущался, махал руками
и требовал немедленного морального удовлетворенья:
— Собака кусать меня — я должен кусать собаку!
А я кричала, что, если он укусит мою собаку,
моя собака вовсе его искусает,
и тогда получится настоящая борьба и битва, то есть *fight and battle*,
police with a gun, то есть милиционер с пистолетом...

И тогда Алеша мужественно протянул ему
свою музыкальную, предконкурсную, драгоценную руку
и сказал: — Я — джентльмен и уважаю законы чести —
укусите меня, и вы исчерпаете переполненную чашу
вашего праведного негодованья!
И американец, расшаркавшись
и галантно вытерев платочком губы,
укусил его прямо в запястье...
Даже в темноте было видно, как побледнел Алеша.

Вот и всё.
Алеша уехал в Америку и занял первое место.
— Это, — кричал он радостно по телефону, —
потому что я получил прививку накануне отъезда!
Все его встречали торжественно на аэродроме — с шампанским, с цветами.
А потом он опять куда-то уехал,
и настала осень.

Гулять с собакой стало тоскливо до рева в голос.
И китайскую поэзию мы так и не доучили.
И Возрождение тоже белым пятном осталось.
Да и Новое Время как-то так пролетело...
Я уж не говорю про двадцатый век и текущую литературу.

Через год Алеша женился,
и стало некому править мои стихи с точки зрения вкуса.
Зато мне все говорили:
— Что это у тебя все так грустно, пессимистично,
все у тебя с надсадом, с надрывом, на крик...

А однажды — лет уже через десять —
Алеша вдруг посреди улицы меня окликнул.
Я спросила его благодушно:
— Ты по-прежнему так много читаешь?
А он спросил:
— Послушай, а как собака? Нет, ты помнишь, помнишь, там — в подворотне?..
И мы засмеялись так, будто б встретились с ним наутро,
если бы он куда-то тогда не уехал.
И Алеша опять сказал: — Нет, ты помнишь, помнишь —
как же он меня укусил — ведь почти до крови!
И мы опять засмеялись.

— Хо-хо-хо, — хохотал Алеша, трясая кудрями.
— Ха-ха-ха, — хохотала я на высокой ноте.
А потом, словно застигнутые врасплох, замолчали оба
и пошли каждый своей дорогой,
и не виделись больше,
и никогда не встречались.

*в семи
зеркалаx*

Давид САМОЙЛОВ

«День поэзии», 1974

Олеся Николаева совсем еще молодой поэт — ей восемнадцать лет. Как легко написать такую фразу. И как трудно тому, о ком она сказана, оплачивать позже так запросто приобретенное звание... Это милое и здоровое поэтическое детство, привлекательное и поучительное для многих. И все же это совсем не рядовое начало. Это не просто юношеская потребность выразить себя в стихах, но и способность выразить свои помыслы и состояния...

Фазиль ИСКАНДЕР

«Огонек», 1987

...Я считаю, что самое трудное в поэзии — это отвоевывание земель, которые всегда считались достоянием прозы. Думаю, что Олеся Николаева не без успеха занимается этим трудным и благородным делом. Она разбивает клетку привычного четверостишия, раскачивает строку, подымая бытовой материал до уровня поэтической речи, вводит в стихотворную ткань психологические сюжеты, которые мы привыкли считать принадлежностью прозы... В конце концов поэзия — дело храбрых.

Евгений ЕВТУШЕНКО

Антология «Строфы века», 1995

...Прекрасно работает в поэтическом верлибре и прозе. Из угловатого, неловкого бутона первых стихов мощно распускается ее все расцветающий талант.

Вольфганг КАЗАК

Лексикон русской литературы XX века, 1996

Одна из центральных тем творчества Николаевой — существование христианства в нехристианском и антихристианском обществе. Ее стихи часто повествовательны, но повествование подчинено духовному содержанию, оно образно, как в притче... Ее лирику характеризует постоянная готовность найти определение своей судьбы и принять ее со смирением. Главная идея стихов заложена в концовке, поэтому они полны внутреннего напряжения...

Ирина РОДНЯНСКАЯ

«Новый мир», 1998

...Это эстетика средневекового «реализма», где всякое жизненное обстоятельство места и времени высвечено, по закону обратной перспективы, лучом «оттуда», где всякое фактическое «здесь» обеспечено значимым «там», где все тутошные узлы развязываются в загробное утро вечности...

Испания Олеси Николаевой — это вовсе не аллюзионный Рим Бродского, прозрачный псевдоним нашего отечества. При всех параллелях: «иезуитом здесь быть противно, шутом — грешно, аристократом — сомнительно, чернью — гнусно» — и озорных смещениях: «Ох, как

сурова зима в Испании...» — переименование своего местожительства и ландшафта служит внутреннему отдалению от проходящего перед глазами, обеспечивает душевную дистанцию, некий неподвижный плацдарм, откуда понятней здешняя текучка; недаром обращение к адресату овечно дыханьем почти загробной разлуки. Это, в сущности, интимно-философическая лирика, использующая, кстати, ту самую «разношенную» строфу...

Словесные заставки Олеси Николаевой напоминают нарядные буквицы средневековых манускриптов и одновременно игрушечную и пылкую патетику Честертона...

Впечатление, что поэзия Олеси Николаевой по преимуществу барочная, аллегоричная, декоративно-иносказательная, — такое впечатление ложно. В той же мере это поэзия сущностного человеческого «я», поэзия персоналий — собственного эго и «я» других. И тут «амор фати» (в родном варианте: «на роду написано») приобретает невыразимо грустный оборот, с равным состраданием к удачникам и неудачникам — смертным в их тщете, уходящим туда нагими, «на правах погорельца»...

Чтобы услышать «весть» Олеси Николаевой, оценить краски ее дарования, определить источник вдохновения, достаточно прочитать лишь «Августина»...

Вольф ШМИТ

*Речь на вручении О. Николаевой
премии-стипендии А. Топфера, 1998*

Писательский облик Олеси Николаевой, ее творческая манера, наконец, ее судьба опровергают сложившийся в русской (советской) литературе стереотип писателя-творца. За экстравагантностью ее сюжетов, героев, образов и идей стоит чисто христианская метафизика Боговоплощения и Преображения мира. Ее понимание творчества как духовного подвига, как богословия, как внутреннего делания в духе исихазма расширяет контекст ее художественных произведений, позволяя соотносить их не только с русской поэзией и прозой, но и с православной духовной традицией.

В ее стихах и прозе органично переплетены бурный творческий темперамент и аскетичное душевное изящество, русская классическая традиция и поэтика церковной литературы, ирония и трагизм, юродство и эстетство, игра и молитва, мир дольний и мир горний. В одной из статей об Олесе Николаевой направление ее творчества было определено как «мистический реализм».

Лев АННИНСКИЙ

«VIP-premier», 2000

...Поколение, выросшее, нет, не в безверии даже, а в ситуации крушения псевдоверы, в осознании богооставленности, — услышало Весть, когда все сроки минули, прошли, канули. А все-таки надо отвечать. За грехи, которых не совершали. За грехи отчей земли. Ни на кого не свалишь. Кара — страх безлюбья... Свидетельствует — Олеся Николаева, из того поколения, что появилось на свет после смерти Великого Тирана и вошло в литературу под погребальный звон по Великой Иллюзии.

*Из текста представления «Новым миром»
Олеси Николаевой на соискание
Государственной премии, 1999*

Акцентный стих у Олеси Николаевой оказался не только жизнеспособным, но и приоткрыл новые художественные возможности русской поэзии, предоставляемые как за счет своеобразного генезиса, тесно связанного с духовной литературой, жанрами церковной гимнографии и их составными частями: канонами, кондаками, икосами, ирмосами (наиболее очевидный образец — объемный и поэтичный «Канон св. Андрея Критского», в стиле которого ярко воплощен церковный реализм), так и за счет общей тенденции современного стиха к освобождению от косных «правил» советской поэтики и сходству с естественной речью. В конце 1980—1990 годов именно он оказался созвучен каким-то новым сокровенным движениям души, оказался востребованным и лег в основу своеобразного направления современной поэзии, образовав целую поэтическую «школу»: Н. Кононов, Е. Ушакова, А. Шаталов, А. Фролов, С. Надеев...

Книги Олеси Николаевой

- «Сад чудес». Стихи. М.: Советский писатель, 1980.
«На корабле зимы». Стихи. М.: Советский писатель, 1986.
«Смоковница». Стихи. Тбилиси: Мерани, 1989.
«Ключи от мира». Проза. М.: Московский рабочий, 1990.
«Здесь». Стихи и поэмы. М.: Советский писатель, 1990.
«L'infirme de naissance». Проза. Paris: Gallimard, 1993.
«Amor fati». Книга стихов. СПб.: Инапресс, 1997.
«Современная культура и Православие» / Сборник статей. М.: Издательство Подворья Троице-Сергиевой Лавры, 1999.
«Съвременната култура и Православието». София: Омофор, 2000.
«Православие и свобода» / Сборник статей в двух частях с предисловиями протоиерея Валентина Асмуса и профессора Московской Духовной Академии, доктора церковной истории Алексея Сидорова. М.: Издательство Подворья Троице-Сергиевой Лавры, 2002.
«Мене, текел, фарес». Романы, рассказы. М.: Эксмо, 2003.
«Испанские письма». Книга стихов. М.: Материк, 2004.
«Апология человека». Избранные стихи. М.: Издательство Подворья Троице-Сергиевой Лавры, 2004.
Жан-Клод Ларше. «Преподобный Максим Исповедник — посредник между Востоком и Западом». Перев. с франц. Олеси Николаевой. М.: Издание Сретенского монастыря, 2004.

ГОЛОС

«Голосом поэт работает, голосом», — сказал Мандельштам. Поэтический голос Олеси Николаевой не спутаешь ни с каким иным. Берусь его узнать среди множества других, так самостоятельны и оригинальны его модуляции и переливы, а поскольку речь идет не о музыке — о поэзии, то скажу: так узнаваема и неподдельна эта интонация, таким «лица необщим выраженьем» отличаются эти лирические темы и сюжеты, умеющие оттолкнуться от земных, будничных, конкретных вещей и подняться над печалью и скорбью этой жизни.

...И однажды, когда я прощалась в прихожей
с тем, кто был мне и жизни и чести дороже,
чище снега крещенской зимы,
строже зимнего поля, суровее леса, —
будто тайная вдруг приоткрылась завеса,
и прошел Он меж нами среди тьмы...

Олеся Николаева опирается на традицию, но преобразует ее, время от времени переходя от регулярного стиха к акцентному, столь тесно связанному с устной, разговорной речью.

И в то же время как органично и естественно заходят в ее стихи знакомые мелодии, чувствуя себя в них как дома!

...Потому что на холмах Грузии — ночная мгла.
Потому что всё остальное — только кимвал звенящий.
Потому что Геба столь ветрена, что, кормя орла,
Проливает на землю кубок громокипящий!

В стихах Олеси Николаевой живет невыдуманное чувство, блестит неожиданная поэтическая мысль, не заданная заранее, а вырастающая из самих стихов, и что бы я к этому ни добавил, все равно определению и анализу этот голос не поддается, потому что есть определение стиха, но нет

определения поэзии. Среди затопившей нас стихотворной графомании, автоматизованного, эпигонского стиха и авангардистских поделок, агрессивного цинизма, игры на понижение, разлагающих поэтическое искусство изнутри, он внушает надежду и дает утешение. Эти стихи доставляют радость, их можно издавать как курс «Введения в счастье», хотя они никогда не забывают о трагичности бытия. Вот, собственно, и всё, — и жюри, присудившее в этом году национальную поэтическую премию Олесе Николаевой, руководствовалось не логическими доводами, а интуитивным знанием. Это знание представляется мне врожденной способностью души откликаться на чистый звук стиха, поверх всех барьеров и профессиональных предрассуждений. И к этому интуитивному знанию примешивается чувство благодарности: поэт ничего не выдумывает, жизнь поэтична по определению, а настоящие стихи только то и делают, что, вопреки горю и злу, пытающимся нас разубедить в поэтическом смысле бытия, напоминают нам о нем (может быть, единственном; и уж во всяком случае, не самом последнем).

Александр Кушнер

**П о п е ч и т е л ь с к и й с о в е т
общества поощрения русской поэзии**

**Ж ю р и Р о с с и й с к о й
национальной премии «Поэт»**

- *Дмитрий Петрович Бак* — критик, доктор филологических наук, профессор РГГУ;
- *Николай Алексеевич Богомолов* — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой литературной критики МГУ;
- *Яков Аркадьевич Гордин* — писатель, историк, соредактор журнала «Звезда» (Санкт-Петербург);
- *Александр Семенович Кушнер* — первый лауреат премии «Поэт», председатель жюри;
- *Александр Васильевич Лавров* — доктор филологических наук, профессор, член-корреспондент РАН (Санкт-Петербург);
- *Самуил Аронович Лурье* — писатель, критик (Санкт-Петербург);
- *Андрей Семенович Немзер* — критик, кандидат филологических наук, обозреватель газеты «Время новостей»;
- *Владимир Иванович Новиков* — критик, писатель, доктор филологических наук, профессор МГУ;
- *Ирина Бенционовна Роднянская* — критик, член редколлегии журнала «Новый мир»;
- *Сергей Иванович Чупринин* — доктор филологических наук, профессор, главный редактор журнала «Знамя».